

Ф. Ницше



ЕССЕ НОМО

Фридрих Ницше

**Ессе Homo. Как
становятся самим собой**

«Фолио»

1908

Ницше Ф. В.

Ессе Homo. Как становятся самим собой / Ф. В. Ницше —
«Фолио», 1908

Фридрих Ницше - немецкий философ, представитель «философии жизни», один из самых оригинальных мыслителей XIX века. В основу текста «Ессе homo» легло небольшое самописание, созданное в течение двух недель осени 1888 г., когда Ницше, как он написал в письме, «выполнил неимоверно трудную задачу - рассказать самого себя, свои книги, свои взгляды... свою жизнь». Затем текст перерабатывался, дополнялся автором, работа над ним продолжалась в течение всего короткого срока оставшейся ему сознательной жизни, но так и не была окончена. Тем не менее, значимость и относительная цельность этого сочинения позволяет все-таки считать его, хотя и на самой грани, завершенным произведением.

© Ницше Ф. В., 1908

© Фолио, 1908

Содержание

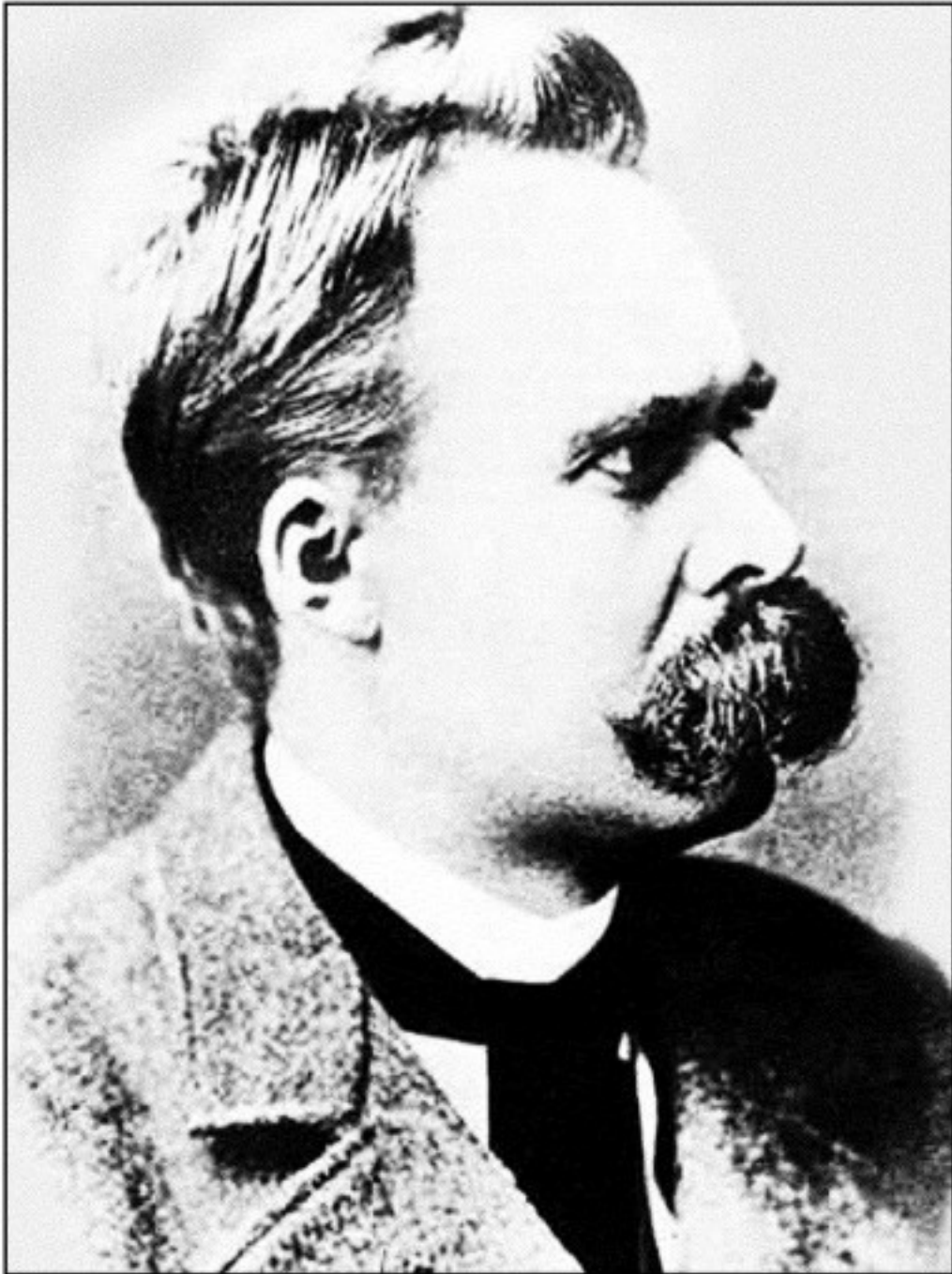
Предисловие	5
1	5
1	7
3	8
4	9
Почему я так мудр	11
1	11
2	14
4	16
5	17
6	18
7	20
8	21
Почему я так умен	23
1	23
2	26
3	27
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Фридрих Ницше

Ессе Ното. Как становятся самим собой

Предисловие

1



В предвидении, что не далек тот день, когда я должен буду подвергнуть человечество испытанию более тяжкому, чем все те, каким оно подвергалось когда-либо, я считаю необходимым сказать, *кто* я. Знать это, в сущности, не так трудно, ибо я не раз «свидетельствовал о себе». Но несоответствие между величию моей задачи и *ничтожеством* моих современников проявилось в том, что меня не слышали и даже не видели. Я живу на свой собственный кредит, и, быть может, то, что я живу, – один предрассудок?.. Мне достаточно только поговорить с каким-нибудь «культурным» человеком, прошедшим лето в Верхнем Энгадине, чтобы убедиться, что я *не* живу... При этих условиях возникает обязанность, против которой, в сущности, возмущается моя обычная сдержанность и еще больше гордость моих инстинктов, именно обязанность сказать: *Выслушайте меня! ибо я такой-то и такой-то. Прежде всего не смешивайте меня с другими!*

1

Я, например, вовсе не пугало, не моральное чудовище, – я даже натура, противоположная той породе людей, которую до сих пор почитали как добродетельную. Между нами, как мне кажется, именно это составляет предмет моей гордости. Я ученик философа Диониса, я предпочел бы скорее быть сатиром, чем святым. Но прочтите-ка это сочинение. Быть может, оно не имеет другого смысла, как объяснить названную противоположность в более светлой и доброжелательной форме. «Улучшить» человечество – было бы последним, что я мог бы обещать. Я не создаю новых идиолов; пусть научатся у древних, во что обходятся глиняные ноги. Мое ремесло скорее – *низвергать идиолов* – так называю я «идеалы». В той мере, в какой *выдумали* мир идеальный, отняли у реальности ее ценность, ее смысл, ее истинность... «Мир истинный» и «мир кажущийся» – по-немецки: мир *изолганный* и реальность... *Ложь* идеала была до сих пор проклятием, тяготевшим над реальностью, само человечество, проникаясь этой ложью, извращалось вплоть до глубочайших своих инстинктов, до обоготворения ценностей, *обратных* тем, которые обеспечивали бы развитие, будущность, высшее *право* на будущее.

3

– Тот, кто умеет дышать воздухом моих сочинений, знает, что это воздух высот, *здоровый* воздух. Надо быть созданным для него, иначе рискуешь простудиться. Лед вблизи, чудовищное одиночество – но как безмятежно покоятся все вещи в свете дня! как легко дышится! сколь многое чувствуешь *ниже* себя! – Философия, как я ее до сих пор понимал и переживал, есть добровольное пребывание среди льдов и горных высот, искание всего странного и загадочного в существовании, всего, что было до сих пор гонимого моралью. Долгий опыт, приобретенный мною в этом странствовании по *запретному*, научил меня смотреть иначе, чем могло быть желательно, на причины, заставлявшие до сих пор морализировать и создавать идеалы. Мне открылась *скрытая* история философов, психология их великих имен. – Та степень истины, какую только дух *переносит*, та степень истины, до которой только и *дерзает* дух, – вот что все больше и больше становилось для меня настоящим мерилom ценности. Заблуждение (вера в идеал) не есть слепота, заблуждение есть *трусость*... Всякое завоевание, всякий шаг вперед в познании *вытекает* из мужества, из строгости к себе, из чистоплотности в отношении себя... Я не отвергаю идеалов, я только надеваю в их присутствии перчатки... Nitimur in *vetitum*¹: этим знаменем некогда победит моя философия, ибо до сих пор основательно запрещалась только истина.

¹ По ту сторону добра и зла.

4

– Среди моих сочинений мой *Заратустра* занимает особое место. Им сделал я человечеству величайший дар из всех сделанных ему до сих пор. Эта книга с голосом, звучащим над тысячелетиями, есть не только самая высокая книга, которая когда-либо существовала, настоящая книга горного воздуха – самый факт человек лежит в чудовищной дали *ниже* ее – она также книга *самая глубокая*, рожденная из самых сокровенных недр истины, неисчерпаемый колодец, откуда всякое погружившееся ведро возвращается на поверхность полным золотом и доброты. Здесь говорит не «пророк», не какой-нибудь из тех ужасных гермафродитов болезни и воли к власти, которые зовутся основателями религий. Надо прежде всего правильно *вслушаться* в голос, исходящий из этих уст, в этот халкионический тон, чтобы не ошибиться в значении его мудрости. «Самые тихие слова – те, что приносят бурю. Мысли, приходящие как голубь, управляют миром». —

Плоды падают со смоковниц, они сочны и сладки; и, пока они падают, сдирается красная кожица их. Я северный ветер для спелых плодов.

Так, подобно плодам смоковницы, падают к вам эти наставления, друзья мои; теперь пейте их сок и ешьте их сладкое мясо! Осень вокруг нас, и чистое небо, и время после полудня.

—

Здесь говорит не фанатик, здесь не «проповедуют», здесь не требуют *веры*: из бесконечной полноты света и глубины счастья падает капля за каплей, слово за словом – нежная медленность есть темп этих речей.

Подобные речи доходят только до самых избранных; быть здесь слушателем – несравненное преимущество; не всякий имеет уши для Заратустры... Тем не менее не *соблазнитель* ли Заратустра?.. Но что же говорит он сам, когда в первый раз опять возвращается к своему одиночеству? Прямо противоположное тому, что сказал бы в этом случае какой-нибудь «мудрец», «святой», «спаситель мира» или какой-нибудь *decadent*... Он не только говорит иначе, он и сам иной...

Ученики мои, теперь ухожу я один! Уходите теперь и вы, и тоже одни! Так хочу я.

Уходите от меня и защищайтесь от Заратустры! А еще лучше – стыдитесь его! Быть может, он обманул вас.

Человек познания должен не только любить своих врагов, но уметь ненавидеть даже своих друзей.

Плохо оплачивает тот учителю, кто навсегда остается только учеником. И почему не хотите вы ошипать венки мои?

Вы уважаете меня; но что будет, если когда-нибудь *падет* уважение ваше? Берегитесь, чтобы статуя не убила вас!

Вы говорите, что верите в Заратустру? Но что толку в Заратустре? Вы – верующие в меня; но что толку во всех верующих!

Вы еще не искали себя, когда нашли меня. Так поступают все верующие; потому-то вера так мало значит.

Теперь я велю вам потерять меня и найти себя; и только *когда вы все отречетесь от меня*, я вернусь к вам...

Фридрих Ницше.

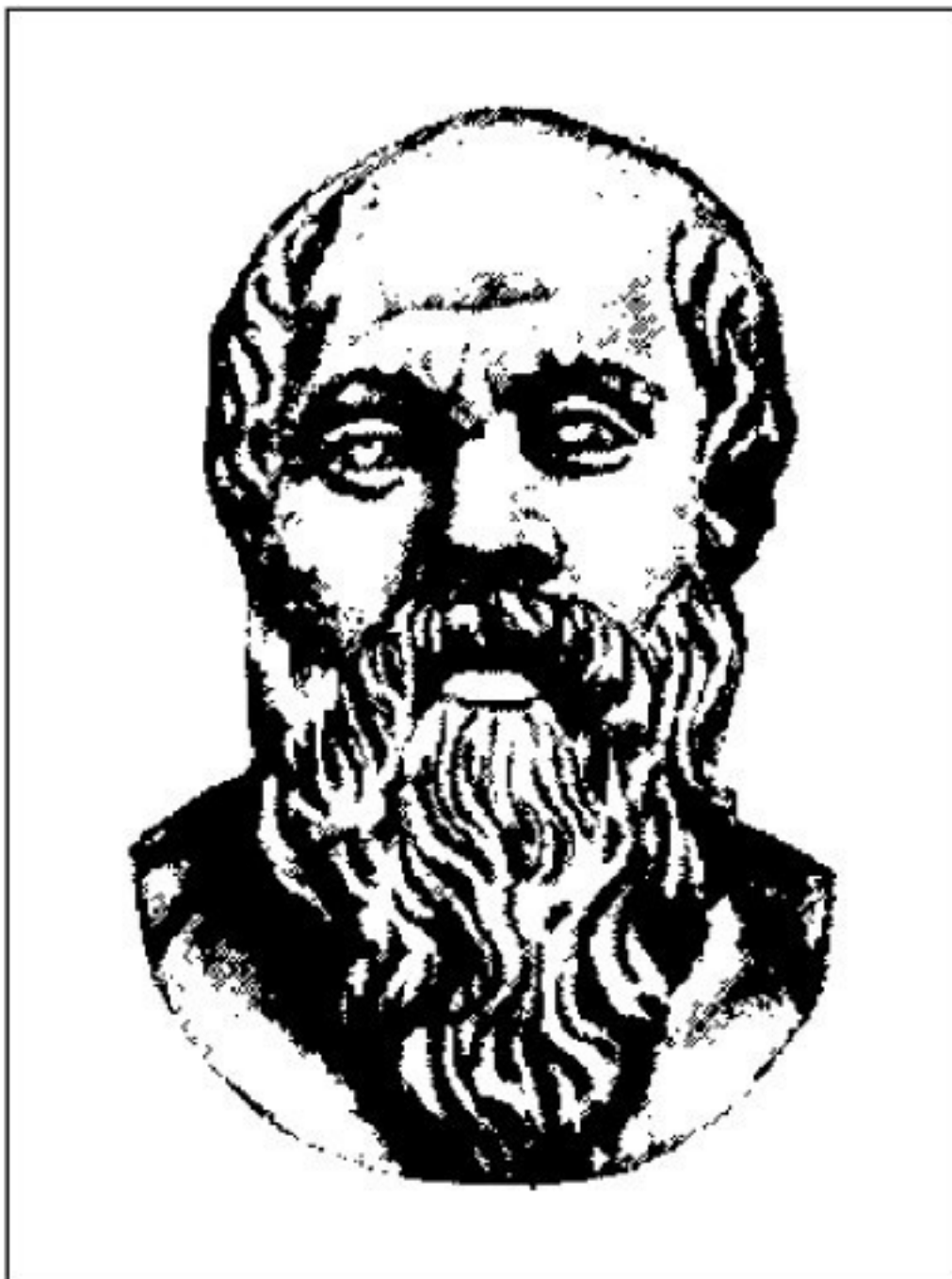


В тот совершенный день, когда все достигает зрелости и не одни только виноградные грозди краснеют, упал луч солнца и на мою жизнь: я оглянулся назад, я посмотрел вперед, и никогда не видел я сразу столько хороших вещей. Не напрасно хоронил я сегодня мой сорок четвертый год, у меня *было право* хоронить его – что было в нем жизненно, было спасено, стало бессмертным. Первая книга *Переоценки всех ценностей, Песни Заратустры, Сумерки идолов*, моя попытка философствовать молотом – сплошные дары, принесенные мне этим годом, даже его последней четвертью! *Почему же мне не быть благодарным всей своей жизни?* – Итак, я рассказываю себе свою жизнь.

Почему я так мудр

1

Счастье моего существования, его уникальность лежит, быть может, в его судьбе: выражаясь в форме загадки, я умер уже в качестве моего отца, но в качестве моей матери я еще живу и старею. Это двойственное происхождение как бы от самой высшей и от самой низшей ступени на лестнице жизни – одновременно и *decadent*, и *начало* – всего лучше объясняет, быть может, отличительную для меня нейтральность, беспартийность в отношении общей проблемы жизни. У меня более тонкое, чем у кого другого, чутье восходящей и нисходящей эволюции; в этой области я учитель *par excellence* – я знаю ту и другую, я воплощаю ту и другую. – Мой отец умер тридцати шести лет: он был хрупким, добрым и болезненным существом, которому суждено было пройти бесследно, – он был скорее добрым воспоминанием о жизни, чем самой жизнью. Его существование пришло в упадок в том же году, что и мое: в тридцать шесть лет я опустился до самого низшего предела своей витальности – я еще жил, но не видел на расстоянии трех шагов впереди себя. В то время – это было в 1879 году – я покинул профессию в Базеле, прожил летом как тень в Санкт-Морице, а следующую зиму, самую бедную солнцем зиму моей жизни, провел *как тень* в Наумбурге. Это был мой минимум: «Странник и его тень» возник тем временем. Без сомнения, я знал тогда толк в тенях... В следующую зиму, мою первую зиму в Генуе, то смягчение и одухотворение, которые почти обусловлены крайним оскудением в крови и мускулах, создали «Утреннюю зарю». Совершенная ясность, прозрачность, даже чрезмерность духа, отразившиеся в названном произведении, уживались во мне не только с самой глубокой физиологической слабостью, но и с эксцессом чувства боли.



Среди пытки трехдневных непрерывных головных болей, сопровождавшихся мучительной рвотой со слизью, я обладал ясностью диалектика *par excellence*, очень хладнокровно размышлял о вещах, для которых в более здоровых условиях не нашел бы в себе достаточно утонченности и *спокойствия*, не нашел бы дерзости скалолаза. Мои читатели, должно быть, знают, до какой степени я считаю диалектику симптомом декаданса, например, в самом знаменитом случае: в случае Сократа. – Все болезненные нарушения интеллекта, даже полубомрок, следующий за лихорадкой, оставались до сего времени совершенно чуждыми для меня вещами, о природе которых я впервые узнал лишь научным путем. Моя кровь бежит медленно. Никому никогда не удавалось обнаружить у меня жар. Один врач, долго лечивший меня как нервнo-больного, сказал наконец: «Нет! больны не Ваши нервы, я сам лишь болен нервами». Конечно, хотя этого и нельзя доказать, во мне есть частичное вырождение; мой организм не поражен никакой гастрической болезнью, но вследствие общего истощения я страдаю крайней слабостью желудочной системы. Болезнь глаз, доводившая меня подчас почти до слепоты, была не

причиной, а только следствием; всякий раз, как возрастали мои жизненные силы, возвращалось ко мне в известной степени и зрение. – Длинный, слишком длинный ряд лет означает у меня выздоровление – он означает, к сожалению, и обратный кризис, упадок, периодичность, известного рода *decadence*. Нужно ли после этого говорить, что я *испытан* в вопросах *decadence*? Я прошел его во всех направлениях, взад и вперед. Само это филигранное искусство схватывать и понимать вообще, этот указатель пиапес, эта психология оттенков и изгибов и все, что образует мою особенность – все это было тогда впервые изучено и составило истинный дар того времени, когда все во мне утончилось, само наблюдение и все органы наблюдения. Рассматривать с точки зрения больного *более здоровые* понятия и ценности, и наоборот, с точки зрения полноты и самоуверенности более *богатой* жизни смотреть на таинственную работу инстинкта декаданса – таково было мое длительное упражнение, мой действительный опыт, и если в чем, так именно в этом я стал мастером. Теперь у меня есть опыт, опыт в том, чтобы *перемещать перспективы*: главное основание, почему одному только мне, пожалуй, стала вообще доступна «переоценка ценностей». —

2

Если исключить, что я decadent, я еще и его противоположность. Мое доказательство, между прочим, состоит в том, что я всегда инстинктивно выбирал *верные* средства против болезненных состояний: тогда как decadent всегда выбирает вредные для себя средства. Как *summa summarum*², я был здоров; как частность, как специальный случай, я был decadent. Энергия к абсолютному одиночеству, отказ от привычных условий жизни, усилие над собою, чтобы больше не заботиться о себе, не служить себе и не позволять себе *лечиться*, – все это обнаруживает безусловный инстинкт-уверенность в понимании, *что было* тогда прежде всего необходимо. Я сам взял себя в руки, я сам сделал себя наново здоровым: условие для этого – всякий физиолог согласится с этим – *быть в основе здоровым*. Существо типически болезненное не может стать здоровым, и еще меньше может сделать себя здоровым; для типически здорового, напротив, болезнь может даже быть энергичным *стимулом* к жизни, к продлению жизни. Так фактически представляется мне *теперь* этот долгий период болезни: я как бы вновь открыл жизнь, включил себя в нее, я находил вкус во всех хороших и даже незначительных вещах, тогда как другие не легко могут находить в них вкус, – я сделал из моей воли к здоровью, к *жизни* мою философию... Потому что – и это надо отметить – я *перестал* быть пессимистом в годы моей наименьшей витальности: инстинкт самовосстановления *воспретил* мне философию нищеты и уныния... А в чем проявляется в сущности *у данность!* В том, что удачный человек приятен нашим внешним чувствам, что он вырезан из дерева твердого, нежного и вместе с тем благоухающего. Ему нравится только то, что ему полезно; его удовольствие, его желание прекращается, когда переступается мера полезного. Он угадывает целебные средства против повреждений, он обращает в свою пользу вредные случайности; что его не губит, делает его сильнее. Он инстинктивно собирает из всего, что видит, слышит, переживает, *свою* сумму: он сам есть принцип отбора, он многое пропускает мимо. Он всегда в *своем* обществе, окружен ли он книгами, людьми или ландшафтами; он достаивает чести, *выбирая, допуская, доверяя*. Он реагирует на всякого рода раздражения медленно, с тою медленностью, которую выработали в нем долгая осторожность и намеренная гордость, – он испытывает раздражение, которое приходит к нему, но он далек от того, чтобы идти ему навстречу. Он не верит ни в «несчастье», ни в «вину»: он справляется с собою, с другими, он умеет *забывать*, – он достаточно силен, чтобы все обращать себе на благо. Ну что ж, я есмь *противоположность* decadent, ибо я только что описал *себя*.

Этот двойной ряд опытов, эта доступность в мнимо разъединенные миры повторяется в моей натуре во всех отношениях – я двойник, у меня есть и «второе» лицо кроме первого. *И*, должно быть, еще и третье... Уже мое происхождение позволяет мне проникать взором по ту сторону всех обусловленных только местностью, только национальностью перспектив; мне не стоит никакого труда быть «добрым европейцем». С другой стороны, я, может быть, больше немец, чем им могут быть нынешние немцы, простые имперские немцы, – я последний *анти-политический* немец. *И*, однако, мои предки были польские дворяне: от них в моем теле много расовых инстинктов, кто знает? в конце концов даже и *liberum veto*³. Когда я думаю о том, как часто обращаются ко мне в дороге как к поляку даже сами поляки, как редко меня принимают за немца, может показаться, что я принадлежу лишь к *крапленным* немцам. Однако моя мать, Франциска Элер, во всяком случае нечто очень немецкое; также, как и моя бабка с отцовской

² В целом (*лат.*).

³ Свободное вето (*лат.*). Право, по которому в *польском* сейме (с XVI в. до конца XVIII в.) любой его член мог одним своим возражением аннулировать решение сейма.

стороны, Эрдмута Краузе. Последняя провела всю свою молодость в добром старом Веймаре, не без общения с кругом Гёте. Ее брат, профессор богословия Краузе в Кёнигсберге, был призван после смерти Гердера в Веймар в качестве генерал-суперинтенданта. Возможно, что их мать, моя прабабка, фигурирует под именем «Мутген» в дневнике юного Гете. Она вышла замуж вторично за суперинтенданта Ницше в Эйленбурге; в тот день великой войны 1813 года, когда Наполеон со своим генеральным штабом вступил 10 октября в Эйленбург, она разрешилась от бремени. Она, как саксонка, была большой почитательницей Наполеона; возможно, что это перешло и ко мне. Мой отец, родившийся в 1813 году, умер в 1849. До вступления в обязанности приходского священника общины Реккен близ Лютцена он жил несколько лет в Альтенбургском дворце и был там преподавателем четырех принцесс. Его ученицами были ганноверская королева, жена великого князя Константина, великая герцогиня Ольденбургская и принцесса Тереза Саксен-Альтенбургская. Он был преисполнен глубокого благоговения перед прусским королем Фридрихом Вильгельмом IV, от которого и получил церковный приход; события 1848 года чрезвычайно опечалили его. Я сам, рожденный в день рождения названного короля, 15 октября, получил, как и следовало, имя Гогенцоллернов – *Фридрих* Вильгельм. Одну выгоду во всяком случае представлял выбор этого дня: день моего рождения был в течение всего моего детства праздником. – Я считаю большим преимуществом то, что у меня был такой отец: мне кажется также, что этим объясняются все другие мои преимущества – за вычетом жизни, великого утверждения жизни. Прежде всего то, что я вовсе не нуждаюсь в намерении, а лишь в простом выжидании, чтобы невольно вступить в мир высоких и хрупких вещей: я там дома, моя сокровеннейшая страсть становится там впервые свободной. То, что я заплатил за это преимущество почти ценою жизни, не есть, конечно, несправедливая сделка. – Чтобы только понять что-либо в моем Заратустре, надо, быть может, находиться в тех же условиях, что и я, – одной ногой стоять *по ту сторону* жизни...

4

Я никогда не знал искусства восстанавливать против себя – этим я также обязан моему несравненному отцу, – в тех даже случаях, когда это казалось мне крайне важным. Я даже, как бы не по-христиански ни выглядело это, не восстановлен против самого себя; можно вращать мою жизнь как угодно, и редко, в сущности один только раз, будут обнаружены следы недоброжелательства ко мне, – но, пожалуй, найдется слишком много следов *доброй* воли... Мои опыты даже с теми, над которыми все производят неудачные опыты, говорят без исключения в их пользу; я приручаю всякого медведя; я и шутов делаю благодетельными. В течение семи лет, когда я преподавал греческий язык в старшем классе базельского Педагогического института, у меня ни разу не было повода прибегнуть к наказанию; самые ленивые были у меня прилежны. Я всегда выше случая; мне не надо быть подготовленным, чтобы владеть собой. Из какого угодно инструмента, будь он даже так расстроен, как только может быть расстроен инструмент «человек», мне удастся, если я не болен, извлечь нечто такое, что можно слушать. И как часто слышал я от самих «инструментов», что еще никогда они так не звучали... Лучшее всего, может быть, слышал я это от того непростительно рано умершего Генриха фон Штейна, который однажды, после заботливо испрошенного позволения, явился на три дня в Сильс-Мария, объясняя всем и каждому, что он приехал *не* ради Энгадина. Этот отличный человек, погрязший со всей стремительной наивностью прусского юнкера в вагнеровское болото (и кроме того, еще и в дюринговское!), был за эти три дня словно перерожден бурным ветром свободы, подобно тому, кто вдруг поднимается на *свою* высоту и получает крылья. Я повторял ему, что это результат хорошего воздуха здесь наверху, что так бывает с каждым, кто не зря поднимается на высоту 6000 футов над Байрейтом, – но он не хотел мне верить... Если, несмотря на это, против меня прегрешали не одним малым или большим проступком, то причиной тому была не «воля», меньше всего *злая* воля: скорее я мог бы – я только что указал на это – сетовать на добрую волю, внесшую в мою жизнь немалый беспорядок. Мои опыты дают мне право на недоверие вообще к так называемым «бескорыстным» инстинктам, к «любви к ближнему», всегда готовой сунуться словом и делом. Для меня она сама по себе есть слабость, отдельный случай неспособности сопротивляться раздражениям, – *сострадание* только у *decadents* зовется добродетелью. Я упрекаю сострадательных в том, что они легко утрачивают стыдливость, уважение и деликатное чувство дистанции, что от сострадания во мгновение ока разит чернью и оно походит, до возможности смешения, на дурные манеры, – что сострадательные руки могут при случае разрушительно вторгнуться в великую судьбу, в уединение после ран, в *преимущественное право* на тяжелую вину. Преодоление сострадания отношу я к *аристократическим* добродетелям: в «Искушении Заратустры» я описал тот случай, когда до него доходит великий крик о помощи, когда сострадание, как последний грех, нисходит на него и хочет его заставить изменить *себе*. Здесь остаться господином, здесь *высоту* своей задачи сохранить в чистоте перед более низкими и близорукими побуждениями, действующими в так называемых бескорыстных поступках, в этом и есть испытание, может быть, последнее испытание, которое должен пройти Заратустра, – истинное *доказательство* его силы...

5

Также и в другом отношении я являюсь еще раз моим отцом и как бы продолжением его жизни после слишком ранней смерти. Подобно каждому, кто никогда не жил среди равных себе и кому понятие «возмездие» так же недоступно, как понятие «равные права», я запрещаю себе в тех случаях, когда в отношении меня совершается малая или *очень большая* глупость, всякую меру противодействия, всякую меру защиты, – равно как и всякую оборону, всякое «оправдание». Мой способ возмездия состоит в том, чтобы как можно скорее послать вслед глупости что-нибудь умное: таким образом, пожалуй, можно еще догнать ее. Говоря притчей: я посылаю горшок с вареньем, чтобы отделаться от *кислой* истории... Стоит только дурно поступить со мною, как я «мщу» за это, в этом можно быть уверенным: я нахожу в скором времени повод выразить «злодею» свою благодарность (между прочим, даже за злодеяние) – или *попросить* его о чем-то, что обязывает к большему, чем что-либо дать... Также кажется мне, что самое грубое слово, самое грубое письмо все-таки вежливее, все-таки честнее молчания. Тем, кто молчит, недостает почти всегда тонкости и учтивости сердца; молчание есть возражение; проглатывание по необходимости создает дурной характер – оно портит даже желудок. Все молчаливники страдают дурным пищеварением. – Как видно, я не хотел бы, чтобы грубость была оценена слишком низко, она является *самой гуманной* формой противоречия и, среди современной изнеженности, одной из наших первых добродетелей. – Кто достаточно богат, для того является даже счастьем нести на себе несправедливость. Бог, который сошел бы на землю, не стал бы ничего другого *делать*, кроме несправедливости, – взять на себя не наказание, а *вину*, – только это и было бы божественно.

6

Свобода от *ressentiment*, ясное понимание *ressentiment* – кто знает, какой благодарностью обязан я за это своей долгой болезни! Проблема не так проста: надо пережить ее, исходя из силы и исходя из слабости. Если следует что-нибудь вообще возразить против состояния болезни, против состояния слабости, так это то, что в нем слабеет действительный инстинкт исцеления, а это и есть *инстинкт обороны и нападения* в человеке. Ни от чего не можешь отделиться, ни с чем не можешь справиться, ничего не можешь оттолкнуть – все оскорбляет. Люди и вещи подходят назойливо близко, переживания поражают слишком глубоко, воспоминание предстает гноящейся раной. Болезненное состояние само *есть* своего рода *ressentiment*. – Против него существует у больного только одно великое целебное средство – я называю его *русским фатализмом*, тем безропотным фатализмом, с каким русский солдат, когда ему слишком в тягость военный поход, ложится наконец в снег. Ничего больше не принимать, не допускать к себе, не воспринимать *в* себя – вообще не реагировать больше... Глубокий смысл этого фатализма, который не всегда есть только мужество к смерти, но и сохранение жизни при самых опасных для жизни обстоятельствах, выражает ослабление обмена веществ, его замедление, своего рода волю к зимней спячке. Еще несколько шагов дальше в этой логике – и приходишь к факиру, неделями спящему в гробу... Так как истощался бы слишком быстро, *если бы* реагировал вообще, то уже и вовсе не реагируешь, – это логика. Но ни от чего не сгорают быстрее, чем от аффектов *ressentiment*. Досада, болезненная чувствительность к оскорблениям, бессилие в мести, желание, жажда мести, отравление во всяком смысле – все это для истощенных есть, несомненно, самый опасный род реагирования: быстрая трата нервной силы, болезненное усиление вредных выделений, например желчи в желудок, обусловлены всем этим. *Ressentiment* есть нечто *само по себе* запретное для больного – *его* зло: к сожалению, также и его наиболее естественная склонность. – Это понимал глубокий физиолог Будда. Его «религия», которую можно было бы скорее назвать гигиеной, дабы не смешивать ее с такими достойными жалости вещами, как христианство, ставила свое действие в зависимость от победы над *ressentiment*: освободить *от него* душу есть первый шаг к выздоровлению. «Не враждою оканчивается вражда, дружбою оканчивается вражда» – это стоит в начале учения Будды: так говорит не мораль, так говорит физиология. – *Ressentiment*, рожденный из слабости, всего вреднее самому слабому – в противоположном случае, когда предполагается богатая натура, *ressentiment* является *лишним* чувством, чувством, над которым остаться господином есть уже доказательство богатства. Кто знает серьезность, с какой моя философия предприняла борьбу с мстительными последышами чувства вплоть до учения о «свободной воле» – моя борьба с христианством есть только частный случай ее, – тот поймет, почему именно здесь я выясняю свое личное поведение, свой *инстинкт-уверенность* на практике.



Во времена *decadence* я *запрещал* их себе как вредные; как только жизнь становилась вновь достаточно богатой и гордой, я запрещал их себе как нечто, что *ниже* меня. Тот «русский фатализм», о котором я говорил, проявлялся у меня в том, что годами я упорно держался за почти невыносимые положения, местности, жилища, общества, раз они были даны мне случаем, – это было лучше, чем изменять их, чем *чувствовать* их изменчивыми, – чем восставать против них... Мешать себе в этом фатализме, насильно возбуждать себя считал я тогда смертельно вредным: поистине, это и было всякий раз смертельно опасно. – Принимать себя самого как фатум, не хотеть себя «иным» – это и есть в таких обстоятельствах само *великое разумение*.

7

Иное дело война. Я по-своему воинствен. Нападать принадлежит к моим инстинктам. Уметь быть врагом, быть врагом – это предполагает, быть может, сильную натуру, во всяком случае это обусловлено в каждой сильной натуре. Ей нужны сопротивления, следовательно, она ищет сопротивления: агрессивный пафос так же необходимо принадлежит к силе, как мстительные последыши чувства к слабости. Женщина, например, мстительна: это обусловлено ее слабостью, как и ее чувствительность к чужой беде. – Сила нападающего имеет в противнике, который ему нужен, своего рода меру, всякое возрастание проявляется в поисках более сильного противника – или проблемы: ибо философ, который воинствен, вызывает и проблемы на поединок. Задача не в том, чтобы победить вообще сопротивление, но преодолеть такое сопротивление, на которое нужно затратить всю свою силу, ловкость и умение владеть оружием, – равного противника... Равенство перед врагом есть первое условие честной дуэли. Где презирают, там нельзя вести войну; где повелевают, где видят нечто ниже себя, там не должно быть войны. – Мой праксис войны выражается в четырех положениях. Во-первых: я нападаю только на вещи, которые победоносны, – я жду, когда они при случае будут победоносны. Во-вторых: я нападаю только на вещи, против которых я не нашел бы союзников, где я стою один, – где я только себя компрометирую... Я никогда публично не сделал ни одного шага, который не компрометировал бы: это мой критерий правильного образа действий. В-третьих: я никогда не нападаю на личности – я пользуюсь личностью только как сильным увеличительным стеклом, которое может сделать очевидным общее, но ускользающее и трудноуловимое бедствие. Так напал я на Давида Штрауса, вернее, на успех его дряхлой книги у немецкого «образования», – так поймал я это образование с поличным... Так напал я на Вагнера, точнее, на лживость, на половинчатый инстинкт нашей «культуры», которая смешивает утонченных с богатыми, запоздалых с великими. В-четвертых: я нападаю только на вещи, где исключено всякое различие личностей, где нет никакой подоплеки дурных опытов. Напротив, нападение есть для меня доказательство доброжелательства, при некоторых обстоятельствах даже благодарности. Я оказываю честь, я отличаю тем, что связываю свое имя с вещью, с личностью: за или против – это мне безразлично. Если я веду войну с христианством, то это подобает мне, потому что с этой стороны я не переживал никаких фатальностей и стеснений, – самые убежденные христиане всегда были ко мне благосклонны. Я сам, противник христианства de rigueur, далек от того, чтобы мстить отдельным лицам за то, что является судьбой тысячелетий. —

8

Могу ли я осмелиться указать еще одну, последнюю черту моей природы, которая в общении с людьми причиняет мне немалые затруднения? Мне присуща совершенно жуткая впечатлительность инстинкта чистоты, так что близость – что говорю я? – самое сокровенное, или «потроха», всякой души я воспринимаю физиологически – *обоняю*... В этой впечатлительности – мои психологические усики, которыми я ошупываю и овладеваю всякой тайною: большая *скрытая* грязь на дне иных душ, обусловленная, быть может, дурной кровью, но замаскированная побелкой воспитания, становится мне известной почти при первом соприкосновении. Если мои наблюдения правильны, такие не примиримые с моей чистоплотностью природы относятся в свою очередь с предосторожностью к моему отвращению: но от этого они не становятся благоухающими... Как я себя постоянно приучал – крайняя чистота в отношении себя есть предварительное условие моего существования, я погибаю в нечистых условиях, – я как бы плаваю, купаюсь и плескаюсь постоянно в светлой воде или в каком-нибудь другом совершенно прозрачном и блестящем элементе. Это делает мне из общения с людьми немалое испытание терпения; моя гуманность состоит *не* в том, чтобы сочувствовать человеку, как он есть, а в том, чтобы *переносить* само это сочувствие к нему... Моя гуманность есть постоянное самопреодоление. – Но мне нужно *одиночество*, я хочу сказать, исцеление, возвращение к себе, дыхание свободного, легкого, играющего воздуха... Весь мой Заратустра есть дифирамб одиночеству, или, если меня поняли, *чистоте*... К счастью, не *чистому безумству*. – У кого есть глаза для красок, тот назовет его алмазным. – *Отвращение* к человеку, к «отребью» было всегда моей величайшей опасностью... Хотите послушать слова, в которых Заратустра говорит о своем *освобождении* от отвращения?

Что же случилось со мной? Как избавился я от отвращения? Кто омолодил мой взор? Как вознесся я на высоту, где отребье не сидит уже у источника?

Разве не само мое отвращение создало мне крылья и силы, угадавшие источник? Поистине, я должен был взлететь на самую высь, чтобы вновь обрести родник радости! —

О, я нашел его, братья мои! Здесь, на самой выси, бьет для меня родник радости! И существует же жизнь, от которой не пьет отребье вместе со мной!

Слишком стремительно течешь ты для меня, источник радости! И часто опустошаешь ты кубок, желая наполнить его.

И мне надо еще научиться более скромно приближаться к тебе: еще слишком стремительно бьется мое сердце навстречу тебе: мое сердце, где горит мое лето, короткое, знойное, грустное и чрезмерно блаженное, – как жаждет мое лето-сердце твоей прохлады!

Миновала медлительная печаль моей весны! Миновала злоба моих снежных хлопьев в июне! Летом сделался я всецело, и полуднем лета!

Летом в самой выси, с холодными источниками и блаженной тишиной – о, придите, друзья мои, чтобы тишина стала еще блаженней!

Ибо это – *наша* высь и наша родина: слишком высоко и круто живем мы здесь для всех нечистых и для жажды их.

Бросьте же, друзья, свой чистый взор в родник моей радости! Разве помутится он? Он улыбнется в ответ вам *своей* чистотою.

На дереве будущего вьем мы свое гнездо; орлы должны в своих клювах приносить пищу нам, одиночим!

Поистине, не ту пищу, которую могли бы вкушать и нечистые! Им казалось бы, что они пожирают огонь, и они обожгли бы себе глотки.

Поистине, мы не готовим здесь жилища для нечистых! Ледяной пещерой было бы наше счастье для тела и духа их!

И, подобно могучим ветрам, хотим мы жить над ними, соседи орлам, соседи снегу, соседи солнцу – так живут могучие ветры.

И, подобно ветру, хочу я когда-нибудь еще подуть среди них и своим духом отнять дыхание у духа их – так хочет мое будущее.

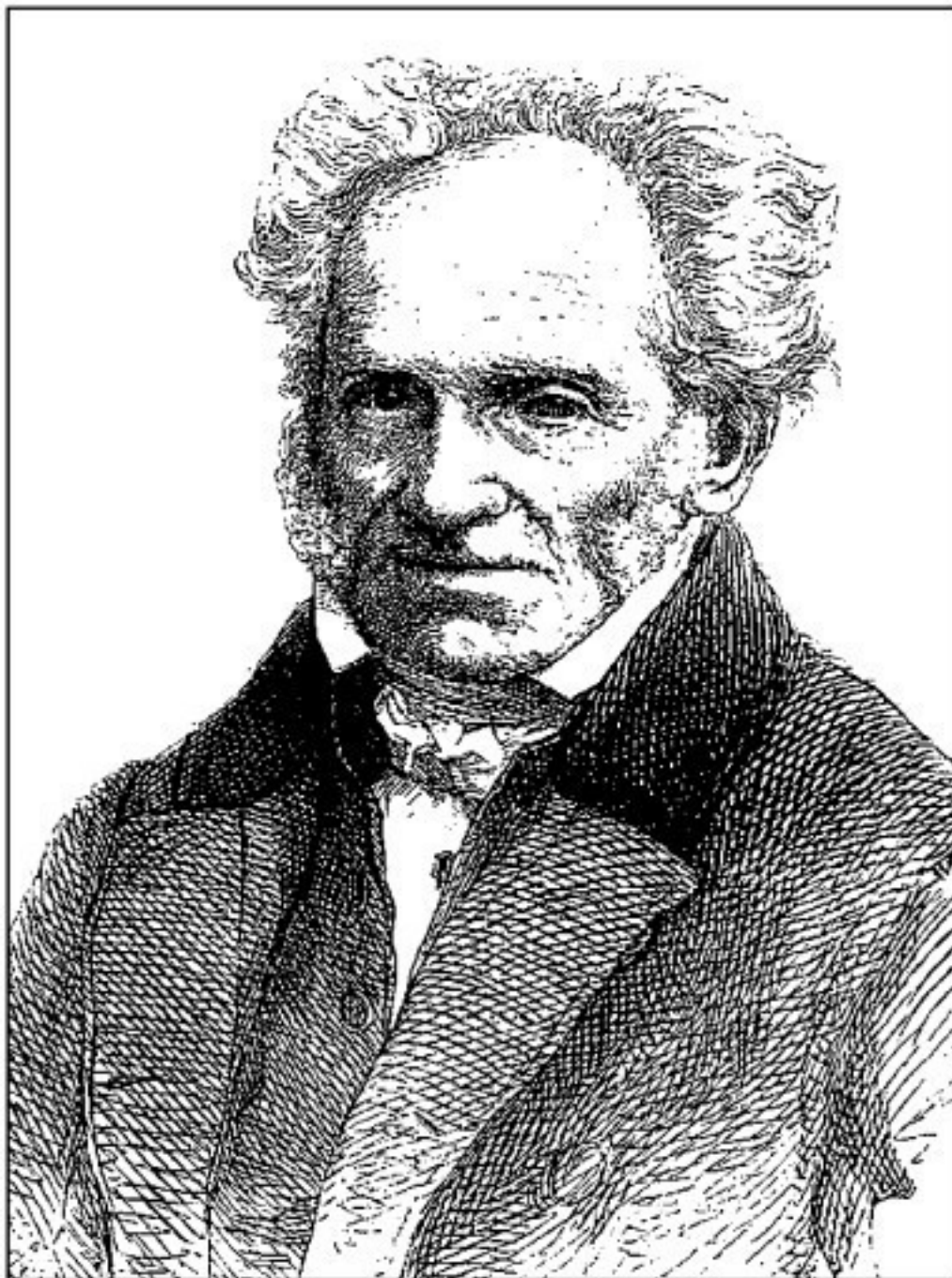
Поистине, могучий ветер Заратустра для всех низин; и такой совет дает он своим врагам и всем, кто плюет и харкает: остерегайтесь харкать *против* ветра!..



Почему я так умен

1

Почему я о некоторых вещах знаю *больше*? Почему я вообще так умен? Я никогда не думал над вопросами, которые не являются таковыми, – я себя не расточал. – Настоящих *религиозных* затруднений, например, я не знаю по опыту. От меня совершенно ускользнуло, как я мог бы быть «склонным ко греху». Точно так же у меня нет надежного критерия для того, что такое угрызение совести: по тому, что судачат на сей счет, угрызение совести не представляется мне чем-то достойным уважения... Я не хотел бы отказываться от поступка *после его совершения*, я предпочел бы совершенно исключить дурной исход, *последствия* из вопроса о ценности. При дурном исходе слишком легко теряют *верный* глаз на то, что сделано; угрызение совести представляется мне своего рода «*дурным* *глазом*». Читая тем выше то, что не удалось, как раз *потому*, что оно не удалось, – это уже скорее принадлежит к моей морали. – «Бог», «бессмертие души», «искупление», «потусторонний мир» – сплошные понятия, которым я никогда не дарил ни внимания, ни времени, даже ребенком, – быть может, я никогда не был достаточно ребенком для этого? – Я знаю атеизм отнюдь не как результат, еще меньше как событие; он разумеется у меня из инстинкта. Я слишком любопытен, слишком *загадочен*, слишком надменен, чтобы позволить себе ответ, грубый, как кулак. Бог и есть грубый, как кулак, ответ, неделикатность по отношению к нам, мыслителям, – в сущности, даже просто грубый, как кулак, *запрет* для нас: вам нечего думать!.. Гораздо больше интересует меня вопрос, от которого больше зависит «спасение человечества», чем от какой-нибудь теологической курьезности: вопрос о *питании*. Для обиходного употребления можно сформулировать его таким образом: «Как должен именно *ты* питаться, чтобы достигнуть своего максимума силы, *virtu* в стиле Ренессанс, добродетели, свободной от моралина?» – Мои опыты здесь из ряда вон плохи; я изумлен, что так поздно внял этому вопросу, так поздно научился из этих опытов «разуму».



Только совершенная негодность нашей немецкой культуры – ее «идеализм» – объясняет мне до некоторой степени, почему я именно здесь отстал до святости. Эта «культура», которая наперед учит терять из виду *реальности*, чтобы гнаться за исключительно проблематическими, так называемыми «идеальными» целями, например за «классическим образованием», – как будто уже не осуждено наперед соединение в *одном* понятии «классического» и «немецкого»! Более того, это действует увеселительно – представьте себе «классически образованного» жителя Лейпцига! – В самом деле, до самого зрелого возраста я всегда ел *плохо* – выражаясь морально, «безлично», «бескорыстно», «альтруистически» – на благо поваров и прочих братьев во Христе. Я очень серьезно отрицал, например, благодаря лейпцигской кухне, одновременно с началом моего изучения Шопенгауэра (1865), свою «волю к жизни». В целях недостаточного питания еще испортить себе и желудок – эту проблему названная кухня разрешает, как мне казалось, удивительно счастливо. (Говорят, 1866 год внес сюда перемену.) Но немецкая кухня вообще – чего только нет у нее на совести! Суп *перед* обедом (еще в венецианских

поваренных книгах XVI века это называлось *alia tedesca*⁴); вареное мясо, жирно и мучнисто приготовленные овощи; извращение мучных блюд в пресс-папье! Если прибавить к этому еще прямо скотскую потребность в питье после еды старых, отнюдь не одних только *старых* немцев, то становится понятным происхождение *немецкого духа* – из расстроенного кишечника... Немецкий дух есть несварение, он ни с чем не справляется. – Но и *английская* диета, которая по сравнению с немецкой и даже французской кухней есть нечто вроде «возвращения к природе», именно к каннибализму, глубоко противна моему собственному инстинкту; мне кажется, что она дает духу *тяжелые* ноги – ноги англичанок... Лучшая кухня – кухня *Пьемонта*. – Спиртные напитки мне вредны; стакана вина или пива в день вполне достаточно, чтобы сделать мне из жизни «юдоль скорби», – в Мюнхене живут мои антиподы. Если даже предположить, что я несколько поздно понял это, все-таки я *переживал* это с самого раннего детства. Мальчиком я думал, что потребление вина, как и курение табака, вначале есть только суета молодых людей, позднее – дурная привычка. Может быть, в этом *терпком* суждении виновно также наумбургское вино. Чтобы верить, что вино *просветляет*, для этого я должен был бы быть христианином, стало быть, верить в то, что является для меня абсурдом. Довольно странно, что при этой крайней способности расстраиваться от *малых*, сильно разбавленных доз алкоголя я становлюсь почти моряком, когда дело идет о *сильных* дозах. Еще мальчиком вкладывал я в это свою смелость. Написать и также переписать в течение *одной* ночи длинное латинское сочинение, с честолюбием в пере, стремящимся подражать в строгости и сжатости моему образцу Саллюстия, и выпить за латынью грог самого тяжелого калибра – это, в бытность мою учеником почтенной Шульпфорты, вовсе не противоречило моей физиологии, быть может, и физиологии Саллюстия, что бы ни думала на сей счет почтенная Шульп-форта... Позже, к середине жизни, я восставал, правда, все решительнее *против* всяких «духовных» напитков: я, противник вегетарианства по опыту, совсем как обративший меня Рихард Вагнер, могу вполне серьезно советовать всем *более духовным* натурам безусловное воздержание от алкоголя. Достаточно *воды*... Я предпочитаю местности, где есть возможность черпать из текущих родников (Ницца, Турин, Сильс); маленький стакан следует всюду за мною, как собака.

In vino veritas: кажется, и здесь я опять не согласен со всем миром в понятии «истины» – для меня дух носится над водою... Еще несколько указаний из моей морали. Сытный обед переваривается легче небольшого обеда. Приведение в действие желудка, как целого, есть первое условие хорошего пищеварения. Величину своего желудка надо *знать*. По той же причине не следует советовать тех продолжительных обедов, которые я называю прерванными жертвенными торжествами, – таковы обеды за *table d’hote*. – Никаких ужинов, никакого кофе: кофе омрачает. *Чай* только утром полезен. Немного, но крепкий; чай очень вреден и делает больным на целый день, если он на один градус слабее нужного. У каждого здесь своя мера, часто в самых узких и деликатных границах. В очень раздражающем климате не следует советовать чай сначала: нужно начинать за час до чаю чашкой густого, очищенного от масла какао. – Как можно меньше *сидеть*, не доверять ни одной мысли, которая не родилась на воздухе и в свободном движении – когда и мускулы празднуют свой праздник. Все предрассудки происходят от кишечника. – Сидячая жизнь – я уже говорил однажды – есть истинный *грех* против духа святого. —

⁴ На немецкий лад (*итал.*).

2

С вопросом о питании тесно связан вопрос о *месте* и *климате*. Никто не волен жить где угодно; а кому суждено решать великие задачи, требующие всей его силы, тот даже весьма ограничен в выборе. Климатическое влияние на *обмен веществ*, его замедление и ускорение, заходит так далеко, что ошибка в месте и климате может не только сделать человека чуждым его задаче, но даже вовсе скрыть от него эту задачу: он никогда не увидит ее. Животный *vigor* никогда не станет в нем настолько большим, чтобы было достигнуто то чувство свободы, наполняющей дух, когда человек признает: *это* могу я один... Обратившейся в привычку, самой малой вялости кишечника вполне достаточно, чтобы из гения сделать нечто посредственное, нечто «немецкое»; одного немецкого климата достаточно, чтобы лишить мужества сильный, даже склонный к героизму кишечник. Темп обмена веществ стоит в прямом отношении к подвижности или слабости *ног* духа; ведь сам «дух» есть только род этого обмена веществ. Пусть сопоставят места, где есть и были богатые духом люди, где остроумие, утонченность, злость принадлежали к счастью, где гений почти необходимо чувствовал себя дома: они имеют все замечательно сухой воздух. Париж, Прованс, Флоренция, Иерусалим, Афины – эти имена о чем-нибудь да говорят: гений *обусловлен* сухим воздухом, чистым небом – стало быть, быстрым обменом веществ, возможностью всегда вновь доставлять себе большие, даже огромные количества силы. У меня перед глазами случай, где значительный и склонный к свободе дух только из-за недостатка инстинкта тонкости в климатическом отношении сделался узким, кропотливым специалистом и брюзгой. Я и сам мог бы в конце концов обратиться в такой случай, если бы болезнь не принудила меня к разуму, к размышлению о разуме в реальности. Теперь, когда я, вследствие долгого упражнения, отмечаю на себе влияния климатического и метеорологического происхождения, как на тонком и верном инструменте, и даже при коротком путешествии, скажем, из Турина в Милан вычисляю физиологически на себе перемену в градусах влажности воздуха, теперь я со страхом думаю о *том зловещем* факте, что моя жизнь до последних десяти лет, опасных для жизни лет, всегда протекала в неподобающих и как раз для меня *запретных* местностях. Наумбург, Шюльпфорта, Тюрингия вообще, Лейпциг, Базель, Венеция – все это несчастные места для моей физиологии. Если у меня вообще нет приятного воспоминания обо всем моем детстве и юности, то было бы глупостью приписывать это так называемым моральным причинам, – например бесспорному недостатку *удовлетворительного* общества: ибо этот недостаток существует и теперь, как он существовал всегда, но не мешал мне быть бодрым и смелым. Невежество *in physiologicis* – проклятый «идеализм» – вот действительная напасть в моей жизни, лишнее и глупое в ней, нечто, из чего не выросло ничего доброго, с чем нет примирения, чему нет возмещения. Последствиями этого «идеализма» объясняю я себе все промахи, все большие инстинкты-заблуждения и «скромности» в отношении *задачи* моей жизни, например, что я стал филологом – почему по меньшей мере не врачом или вообще чем-нибудь раскрывающим глаза? В базельскую пору вся моя духовная диета, в том числе распределение дня, была совершенно бессмысленным злоупотреблением исключительных сил, без какого-либо покрывающего их трату притока, без мысли о потреблении и возмещении. Не было никакого более тонкого эгоизма, не было никакой *охраны* повелительного инстинкта; это было приравнивание себя к кому угодно, это было «бескорыстие», забвение своей дистанции – нечто, чего я себе никогда не прощу. Когда я пришел почти к концу, именно *потому*, что я пришел почти к концу, я стал размышлять об этой основной неразумности своей жизни – об «идеализме». Только *болезнь* привела меня к разуму. —

3

Выбор пищи; выбор климата и места; третье, в чем ни за что не следует ошибиться, есть выбор *своего способа отдыха*. И здесь, смотря по тому, насколько дух есть *sui generis*, пределы ему дозволенного, т. е. *полезного*, очень узки. В моем случае всякое чтение принадлежит к моему отдыху: следовательно, к тому, что освобождает меня от себя, что позволяет мне гулять по чужим наукам и чужим душам, – чего я не принимаю уже всерьез. Чтение есть для меня отдых именно от *моей* серьезности. В глубоко рабочее время у меня не видать книг: я остерегся бы позволить кому-нибудь вблизи меня говорить или даже думать. А это и называю я читать... Заметили ли вы, что в том глубоком напряжении, на какое беременность обрекает дух и в сущности весь организм, всякая случайность, всякий род раздражения извне влияют слишком болезненно, «поражают» слишком глубоко? Надо по возможности устранить со своего пути случайность, внешнее раздражение; нечто вроде самозамуровывания принадлежит к первым мудрым инстинктам духовной беременности. Позволю ли я *чуждой* мысли тайно перелезть через стену? – А это и называлось бы читать... За временем работы и ее плодов следует время отдыха: ко мне тогда, приятные, умные книги, которых я только что избегал! – Будут ли это немецкие книги?... Я должен отсчитать полгода назад, чтобы поймать себя с книгой в руке. Но что же это была за книга? – Прекрасное исследование Виктора Брошара, *les Sceptiques Grecs*, в котором хорошо использованы и мои *Laertiana*. Скептики – это единственный *достойный уважения* тип среди от двух до пяти-смысленной семьи философов!.. Впрочем, я почти всегда нахожу убежище в одних и тех же книгах, в небольшом их числе, именно в *доказанных*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.